

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

XVIII

ВЕКА

Хрестоматия

Том 1

Составители
Б. И. Пуришев, Б. И. Колесников, Я. Н. Засурский

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Б. И. ПУРИШЕВА

Издание второе,
исправленное и дополненное

Допущено
Министерством высшего и среднего
специального образования СССР
в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности
«Русский язык и литература»



Москва
«Высшая школа»
1988

Лоренс СТЕРН

(Laurence Sterne)

(1713—1768)



Крупнейший представитель английского сентиментализма; родился в Ирландии, в семье армейского офицера; рано осиротел; воспитывался на средства родственников. Окончил Кембриджский университет, после чего принял сан священника (по настоянию дяди, своего покровителя).

Будучи сторонником материалистической философии Шефтсбери, Дидро и других выдающихся мыслителей

XVIII в., а также почитателем Рабле, Свифта,

Сервантеса, Филдинга, Стерн без особого рвения относился к своим обязанностям служителя церкви.

Однако его проповеди всегда производили сильнейшее впечатление на слушателей. Он умел просто и волнующе освещать самые глубокие и сложные вопросы морали, быта, политики.

Попытка принять участие в парламентской борьбе (в 40-х годах XVIII в. на стороне вигов) не увенчалась для него успехом: быстро разгадав беспринципность и политическую нечистоплотность обеих партий, Стерн с отвращением отошел от них.

Уже на склоне лет (50 лет от роду) Стерн публикует свой первый роман — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1760). Это произведение сразу же принесло его автору всеевропейскую известность. Роман Стерна резко отличался по своей композиции и стилю от предшествующего ему просветительского английского романа 40-х годов XVIII в. Вместо широкой эпической картины жизни провинции и столицы (Филдинг, Смоллет), вместо подробного, несколько дидактического описания чувств героев и героинь (Ричардсон), читатель встречается в романе Стерна с причудливо изломанной композицией, с переносом акцента повествования на, казалось бы, второстепенные события, мелочи — будничные дела героев. В 1768 г. перед смертью Стерн опубликовал свой второй роман — «Сентиментальное путешествие».

Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена

(«The Life and Opinions of Tristram Shandy,
Gentleman», 1760—1767)

Том 3

Глава 21

Каждый день в течение, по крайней мере, десяти лет отец принимал решение поправить их¹ — они не поправлены до сих пор; — ни в одном доме, кроме нашего, их так не оставили бы и часу, — и что всего удивительнее, не было на свете предмета, о котором отец говорил бы с таким красноречием, как о дверных петлях. — И все же он был, конечно, оставлен ими в величайших дураках, каких только свет производил: красноречие отца и его поступки вечно были не в ладах между собой. — Каждый раз, когда двери в гостиную отворялись, — философия его и принципы падали их жертвой; — три капли масла на перышке и крепкий удар молотком спасли бы его честь навсегда.

— Какое непоследовательное существо человек! — Изнемогает от ран, которые имеет возможность вылечить! — Вся жизнь его в противоречии с его убеждениями! — Его разум, этот драгоценный божий дар, — вместо того чтобы проливать елей на его чувствительность, только ее раздражает, — умножая его страдания и повергая его в уныние и беспокойство под их



Л. Стерн

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»

бременем! — Жалкое, несчастное создание, бессильное уйти от своей судьбы! — Разве мало в этой жизни неизбежных поводов для горя, зачем же добровольно прибавлять к ним новые, увеличивая число наших бедствий, — зачем бороться против зол, которых нам не одолеть, которые можно было бы навсегда изгнать из нашего сердца и покоряться другим, с помощью десятой части причиняемых ими хлопот?

Клянусь всем, что есть доброго и благородного! если мне удастся достать три капли масла и сыскать молоток на расстоянии десяти миль от Шенди-Холла — петли двери в гостиную будут исправлены еще в нынешнее царствование.

Глава 22

Смастерив наконец две мортиры, капрал Трим пришел от своего изделия в неописуемый восторг; зная, какая радость будет для его господина посмотреть на эти мортиры, он не мог устоять против искушения немедленно снести их в гостиную.

Кроме урока, который я хотел преподать, рассказывая о *дверных петлях*, я намерен предложить умозрительное рассуждение, из него вытекающее. Вот оно:

если бы дверь в гостиную отворялась и ходила на своих петлях, как подобает исправной двери —

— или, например, так ловко, как вертелось на своих петлях наше правительство, — (иначе говоря, когда его мероприятия вполне согласовались с желанием ваших милостей — в противном случае я беру назад свое сравнение), — в этом случае, говорю я, ни для господина, ни для слуги не было бы никакой опасности в том, что капрал Трим украдкой приотворил дверь: увидев отца моего и дядю Тоби крепко спящими — капрал, по свойственной ему глубокой почтительности, тихонько удалился бы, и оба брата продолжали бы так же мирно поживать в своих креслах, как и при его появлении; но вещь эта была, по совести говоря, совершенно неисполнима, ибо к ежечасным неудовольствиям, причинявшимся отцу в течение многих лет неисправными дверными петлями, — относилось также и следующее, едва только мой родитель складывал руки, готовясь вздремнуть после обеда, как мысль, что он непременно будет разбужен первым же, кто отворит дверь, неизменно завладела его воображением и так упорно становилась между ним и первыми ласковыми прикосновениями надвигающейся дремоты, что похищала у него, как он часто жаловался, всю ее сладость.

Может ли быть иначе, с позволения ваших милостей, если двери ходят на негодных петлях!

— В чем дело? Кто там? — закричал отец, проснувшись, когда дверь начала скрипеть. — Непременно надо, чтобы слесарь осмотрел эти проклятые петли. — Это я, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — несу две ступы. — Нечего поднимать с ними шум здесь, — вспылил отец. — Если доктору Слюпу надо истолочь какое-нибудь снадобье, — пусть делает это в кухне. — С позволения вашей милости, — воскликнул Трим, — это только две осадные мортиры для будущей летней кампании², я их сделал из пары ботфортов, которые ваша милость изволили бросить, как сказал мне Обадия. — Фу, черт! — вскричал отец, вскакивая с кресла, — из всего моего гардероба я ничем так не дорожу, как этими ботфортами. — они принадлежали нашему прадеду, братец Тоби, — они у нас были *наследственные*. — Так я боюсь, — проговорил дядя Тоби, — что Трим отрезал возможность наследственной передачи. — Я отрезал только отвороты с позволения вашей милости, — воскликнул Трим. — Терпеть не могу никаких *неотчуждаемостей*, — воскликнул отец, — но эти ботфорты, — продолжал он (улыбнувшись, хотя и был очень сердит), — хранились в нашей семье, братец, со времени гражданской войны; — сэр Роджер Шенди был в них в сражении при Марстон-Тура³. — Право, я их не отдал бы и за десять фунтов. — Я заплачу вам эти деньги, брат Шенди, — сказал дядя Тоби, с невыразимым наслаждением глядя на мортиры и опуская при этом руку в карман своих штанов, — сию минуту я с превеликой готовностью заплачу вам десять фунтов. — — —

— Брат Тоби, — отвечал отец, — переменяя тон, — как же вы, однако, беззаботно сорите и швыряетесь деньгами, ничего не жалея для какой-нибудь *осады*. — Разве у меня нет ста двадцати фунтов годового дохода, не считая половинного оклада? — воскликнул дядя Тоби. — Что все это, — с горячностью возразил отец; — если вы отдаете десять фунтов за пару ботфортов? — двенадцать гиней за ваши *понтоны*? — в полтора раза больше за ваш голландский подъемный мост? — не говоря уже о медном игрушечном артиллерийском обозе, который вы заказали на прошлой неделе вместе с двадцатью другими приспособлениями для осады Мессины! Поверьте мне, дорогой братец Тоби, — продолжал отец, дружески беря его за руку, — все эти ваши военные операции вам не по средствам; — намерения у вас хорошие, братец, — но они вовлекают вас в большие расходы, чем вы первоначально рассчитывали; — помните мое слово, дорогой Тоби, они в конце концов совсем расстроят ваше состояние и превратят вас в нищего. — Не беда, братец, — возразил дядя Тоби, — ведь я же это делаю для блага родины? —

Отец не мог удержаться от добродушной улыбки — гнев его в самом худшем случае бывал не больше чем вспышкой; — усердие и простота Трима — и благородная (хотя и чудаческая)

щедрость дяди Тоби моментально привели его в превосходнейшее расположение духа.

— Благородные души! — Бог да благословит вас и мортиры ваши! — мысленно проговорил мой отец.

Глава 23

— Все тихо и спокойно, — воскликнул отец, — по крайней мере, наверху: — не слышно, чтобы кто-нибудь двигался. — Скажи, пожалуйста, Трим, кто там в кухне? — В кухне нет ни души, — с низким поклоном отвечал Трим, — кроме доктора Слопа. — Экий сумбур! — вскричал отец (вторично вскакивая с места), — сегодня все пошло шиворот-навыворот! Если бы я верил в астрологию, братец (а кстати сказать, отец в нее верил), я голову дал бы на отсечение, что какая-нибудь двинувшаяся вспять планета остановилась над моим несчастным домом и переворачивает в нем каждую вещь вверх дном. — Помилуйте, я считал, что доктор Слор наверху, с моей женой, и вы мне так сказали. — Каким же дьяволом этот чурбан может быть занят на кухне? — Он занят, с позволения вашей милости, — отвечал Трим, — изготовлением моста. — Как это любезно с его стороны, — заметил дядя Тоби, — передай, пожалуйста, мое нижайшее почтение доктору Слопу, Трим, и скажи, что я сердечно его благодарю.

Надо вам сказать, что дядя Тоби совершил такую же грубую ошибку насчет моста — как отец мой насчет мортир; — — но чтобы вы поняли, каким образом дядя Тоби мог ошибиться насчет моста, — боюсь, мне придется подробно описать вам весь путь, который привел его к нему; — — или, если опустить мою метафору (ведь нет ничего более неправомерного, чем пользование метафорами в истории), — — — чтобы вы правильно поняли всю естественность этой ошибки дяди Тоби, мне придется, хотя и сильно против моего желания, рассказать вам об одном приключении Трима. Говорю: сильно против моего желания — только потому, что история эта в некотором роде здесь, конечно, не у места; законное ее место — или между анекдотов о любовных похождениях дяди Тоби с вдовой Водмен, в которых капралу Триму принадлежит немаловажная роль, — или посреди его и дяди Тоби кампаний на зеленой лужайке — ибо и здесь и там она пришлась бы в самую пору; — но если я ее приберегу для одной из этих частей моего рассказа — я испорчу мой теперешний рассказ; — если же я расскажу ее сейчас — мне придется забежать вперед и испортить дальнейшее.

— Что же прикажете мне делать в этом положении, милостивые государи?

— Расскажите ее сейчас, мистер Шенди, непременно расскажите. — Дурак вы, Тристрам, если вы это сделаете.

О невидимые силы (ведь вы — силы, и притом могущественные) — наделяющие смертного умением рассказывать истории, которые стоило бы послушать, — любезно показывающие ему, с чего их начинать — и чем кончать — — что туда вставлять — и что выпускать — и что оставлять в тени — и что поярче освещать! — — О владыки обширной державы литературных мародеров, видящие множество затруднений и несчастий, в которые ежечасно попадают ваши подданные, — придете ли вы мне на выручку?

Прошу вас и умоляю (в случае, если вы не пожелаете сделать для вас ничего лучше), каждый раз, когда в какой-нибудь части ваших владений случится, как вот сейчас, сойтись в одной точке трем разным дорогам, — ставьте вы, по крайней мере, на их пересечении указательный столб, просто из сострадания к растерявшимся рассказчикам, чтобы они знали, какой из трех дорог им надо держаться.

Глава 24

Хотя афронт, который потерпел дядя Тоби через год после разрушения Дюнкерка⁴ в деле с вдовой Водмен, укрепил его в решимости никогда больше не думать о прекрасном поле — — и обо всем, что к нему относится, — однако капрал Трим такого соглашения с собой не заключал. Действительно, в случае с дядей Тоби странное и необъяснимое столкновение обстоятельств неприметно вовлекло его в осаду сей прекрасной и сильной крепости. — В случае же с Тримом никакие обстоятельства не сталкивались, а только сам он столкнулся на кухне с Бригиттой; — правда, любовь и почтение к своему господину были так велики у Трима и он так усердно старался подражать ему во всех своих действиях, что, употреби дядя Тоби свое время и способности на прилаживание металлических наконечников к шнуркам, — — честный капрал, я уверен, сложил бы свое оружие и с радостью последовал бы его примеру. Вот почему, когда дядя Тоби предпринял осаду госпожи, — капрал Трим немедленно занял позицию перед ее служанкой.

Признайтесь, дорогой мой друг Гаррик, которого я имею столько поводов уважать и почитать, — (а какие это поводы, знать не важно) — от вашей проницательности ведь не укрылось, какое множество драмоделов и сочинителей пьесок неизменно пользуются в последнее время в качестве образца моими Тримом и дядей Тоби. — — Мне дела нет, что говорят Аристотель, или Пакувий, или Боссю, или Риккбони⁵ — — (хотя я ни одного из них никогда не читал) — — но я убежден, что между простой одноколкой и vis-a-vis* мадам Помпадур⁶ меньше раз-

* Коляска с двумя противоположными сиденьями (франц.).

личия, чем между одиночной любовной интригой и интригой двойной, которая пышно развернута и разъезжает четверкой, гарцующей с начала до конца большой драмы. — Простая, одиночная, незамысловатая интрига, сэр, — совершенно теряется в пяти действиях; — но от этого мне ни тепло, ни холодно.

После ряда отраженных атак, которые дядя Тоби предпринимал в течение девяти месяцев и о которых дан будет в свое время самый подробный отчет, дядя Тоби, честнейший человек! счел необходимым отвести свои силы и не без некоторого возмущения снять осаду.

Капрал Трим, как уже сказано, не заключал такого соглашения ни с собой — ни с кем-либо другим; — но так как верное сердце не позволяло ему ходить в дом, с негодованием покинутый его господином, — он ограничился превращением своей части осады в блокаду, — иными словами, не давал неприятелю прохода; — правда, он никогда больше не приближался к оставленному дому, однако, встречая Бригитту в деревне, он каждый раз или кивал ей, или подмигивал, или улыбался, или ласково смотрел на нее — или (когда допускали обстоятельства) пожимал ей руку — или дружески спрашивал ее, как она поживает, — или дарил ей ленту — а время от времени, но только в тех случаях, когда это можно было сделать с соблюдением приличий, давал Бригитте... —

Точь-в-точь в таком положении вещей оставались пять лет, то есть от разрушения Дюнкерка в тринадцатом году до самого окончания дядиной кампании восемнадцатого года, недель за шесть или за семь перед событиями, о которых я рассказываю. — В одну лунную ночь Трим, уложив дядю в постель, вышел, по обыкновению, посмотреть, все ли благополучно в его укреплениях, — и на дороге, отделенной от лужайки цветущими кустами и остролистом, — заметил свою Бригитту.

Полагая, что на всем свете нет ничего более любопытного, чем великолепные сооружения, воздвигнутые им и дядей Тоби, капрал Трим вежливо и галантно взял свою даму за руку и провел ее на лужайку. Сделано это было не настолько скрытно, чтобы злаязычная труба Молвы не разнесла слух об этом из ушей в уши, пока он не достиг моего отца вместе с еще одной досадной подробностью, а именно, что в ту же ночь перекинутый через ров замечательный подъемный мост дяди Тоби, сооруженный и окрашенный на голландский манер, — был сломан и каким-то образом разлетелся на куски.

Отец мой, как вы заметили, не питал большого уважения к коньку дяди Тоби — он считал его самой смешной лошадейю, на которую когда-нибудь садился джентльмен, и если только дядя Тоби не раздражал его своей слабостью, не мог без улыбки думать о нем, — так что каждый раз, когда дядину коньку случалось захромать или попасть в какую-нибудь беду,

отец веселился и хохотал до упаду; но теперешнее злоключение было ему особенно по сердцу, оно сделалось для него неисчерпаемым источником веселых шуток. — Нет, серьезно, дорогой Тоби, — говорил отец, — расскажите мне толком, как случилась эта история с мостом? — Что вы ко мне так пристааете с ним? — отвечал дядя Тоби. — Я ведь уже двадцать раз вам рассказывал слово в слово так, как мне рассказал Трим. — Ну-ка, капрал, как это произошло? — кричал отец, обращаясь к Триму. — Сущее это было несчастье, с позволения вашей милости: — я показывал наши укрепления миссис Бригитте и, находясь у самого края рва, оступился и соскользнул туда — Так, так, Трим! — восклицал отец — (загадочно улыбаясь и кивая головой — но не перебивая его), — — — и так как, с позволения вашей милости, я был крепко сцеплен с миссис Бригиттой, идя с ней под руку, то потащил ее за собой, вследствие чего она шлепнулась задом на мост. — И так как нога Трима (кричал дядя Тоби, выхватывая рассказ изо рта у капрала) попала в кювет, он тоже повалился всей своей тяжестью на мост. — Была тысяча шансов против одного, — прибавлял дядя Тоби, — что бедняга сломает ногу. — Да, это верно! — подтверждал отец, — — недолго и шею себе сломать, братец Тоби, при таких оказиях. — И тогда, с позволения вашей милости, мост — он ведь, как известно вашей милости, был очень легкий — сломался под нашей тяжестью и рассыпался на куски.

В других случаях, особенно же когда дядя Тоби имел несчастье обмолвиться хотя бы словечком о пушках, бомбах или петардах, — отец истощал все запасы своего красноречия (а они у него были не маленькие) в панегирике *таранам древних винее*⁷, которой пользовался Александр⁸ при осаде Тира. — Он рассказывал дяде Тоби о катапультах сирийцев, метавших чудовищные камни на несколько сот футов и потрясавших до основания самые сильные укрепления; — описывал замечательный механизм *баллисты*, который так расхваливает Марцелин⁹; — страшное действие *пиробол*, метавших огонь; — опасность *теребры* и *скорпиона*, метавших копья. — Но что все это, — говорил он, — по сравнению с разрушительными сооружениями капрала Трима? — Поверьте мне, братец Тоби, никакой мост, никакой бастион, никакие укрепленные ворота на свете не устоят против такой артиллерии.

Дядя Тоби никогда не пытался защищаться против этих насмешек иначе, как удвоенным усердием в курении своей трубки.

Роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» написан в форме мемуаров и занимает 9 томов. В духе романистов первой половины XVIII в. Стерн начинает свое повествование с описания событий, предшествовавших рождению главного героя, которому к концу последнего тома едва исполняется пять лет. Поэтому слова в заглавии романа «...мнения Тристрама Шенди»

звучат иронически. Жизнеописание его непрестанно прерывается огромными отступлениями и вставными кусками; иногда автор сам берет слово, отстраняя героев. Речь постоянно ведется о ближайшем окружении Тристрама: о его отце — Вальтере Шенди, о его дядюшке — отставном майоре Тоби, о денщике — капрале Тримере, о докторе Слопе, о пасторе Йорике.

Роман пронизан духом протеста против практицизма; вместе с тем Стерн в ряде отступлений блестяще доказал нежизненность эстетики классицизма с ее вечными и неизменными законами композиции и искусственным учением о строгом разделении комического и трагического. Стерн, отстаивая право неограниченной творческой свободы для художника, показывал условность и ограниченность правил, легко превращающихся в мертвую догму, в тяжкий груз схоластики, подавляющий всякий подлинный талант.

В «Шенди» нет единого и строго продуманного плана, действие развивается в замедленном темпе. Герои — явные чудачки. Один все время разглагольствует (Вальтер Шенди), другой играет в своем небольшом поместье в солдатиков, разыгрывает игрующиеся сражения (дядя Тоби). Но за этой чудоковатостью угадывается ненависть к буржуазному практицизму, неприятие хищничества и эгоизма буржуазного мира. И хотя герои Стерна отнюдь не выступают с открытым протестом (как, например, герои Байрона и Шелли), тем не менее неприятие и хотя бы робкое осуждение этических норм буржуазного общества в 70-х годах XVIII в. было весьма новым и прогрессивным явлением в литературе.

Выше приводятся отрывки из произведения.

¹ Речь идет о дверях, вращающихся на сломанных (и поэтому издававших скрип) петлях.

² Непереводимая игра слов: слово *mortar* (англ.) означает в одно и то же время и «ступка» и «мортира».

³ *Марстон-Мур* — местность в Йоркширском графстве, где войска «Долгого парламента» под предводительством О. Кромвеля наголову разгромили королевские войска в 1644 г.

⁴ ...разрушения Дюнкерка — т. е. через год после того, как Тоби и его слуга сержант Трим играли в осаду голландского города Дюнкирхена (в действительности имевшую место в 1706 г.).

⁵ *Аристотель, Пакувий, Боссю, Рик-*

кобони — Стерн здесь и далее декларирует свое безразличие к философии Аристотеля и других мыслителей прошлого, на которую опирались неоклассицисты, строившие свои догмы и правила на цитатах и ссылках из книг древних философов.

⁶ *Маркиза Помпадур* — фаворитка Людовика XV.

⁷ *Виней* — подвижный оборонительный навес, употреблявшийся при осадных работах у римлян.

⁸ Имеется в виду Александр Македонский, великий полководец древней Греции.

⁹ *Марцеллин* — историк древнего Рима (II в. н. э.).

Сентиментальное путешествие по Франции и Италии

(«A Sentimental Journey through France
and Italy by Mr. Jorick», 1768)

Предисловие¹

Многие странствующие философы, должно быть, заметили, что природа своей неоспоримой властью установила известные пределы и ограды, чтобы ограничивать недовольство человека:

она легко и спокойно осуществила свою цель, возложив на него непреложное обязательство как радости свои, так и страдания переживать у себя на родине. Только здесь она доставляет ему подходящих людей, способных разделить его счастье и нести часть того бремени, которое во всех странах и во все века было слишком тяжело для одной пары плеч. Правда, мы наделены несовершенной способностью распространять порою наше счастье за поставленные ему границы; но устроено так, что из-за несовершенства языка, из-за отсутствия связей, из-за зависимостей различия в воспитании, в обычаях и нравах мы так стеснены в передаче наших чувств за пределами нашего собственного круга, что часто это переходит в полную невозможность.

Отсюда неизбежно следует, что торговый баланс чувств всегда обращается не в пользу оставившего родину искателя приключений: он должен покупать то, в чем он мало нуждается, и покупать по чужой цене; его разговор при обмене на чужой редко принимается без высокого учета, а ведь он попадает в руки сравнительно честных маклеров, потому что при том разговоре, какой ему предлагают, не требуется особенной проницательности, чтобы разобраться в своем собеседнике.

Это возвращает меня к моему собственному случаю и, естественно, приводит (если тряска моей *desobilgeante** позволит мне продолжать) к изложению первых, а равно и конечных целей моего путешествия.

Ваши праздные путешественники покидают родную страну и отправляются за границу по той или иной причине или причинам, которые можно свести к следующим общим основаниям:

Недуг тела,

Немощь духа или же

Непреложная необходимость.

Первые две рубрики охватывают всех тех, кто путешествует по морю или по суше, гонимые гордостью, любопытством, тщеславием или сплином, причем здесь возможны подразделения и сочетания *ad infinitum*².

Третья рубрика обнимает целую армию мучеников странствования; в первую голову тех путешественников, которые отправлены в дорогу с напутствием духовника, — преступники, путешествующие под присмотром надзирателей, приставленных к ним административными властями; или молодые джентльмены, преследуемые жестокостью родителей и опекунов и путешест-

* Особый вид кареты во Франции, называемый *desobilgeante* — нелюбезная, потому что вмещает только одну персону (Прим. автора.)

вующие под присмотром надзирателей, рекомендованных Оксфордом, Эбердином и Глазго³.

Есть и четвертый разряд, но столь малочисленный, что не заслуживал бы выделения в особую рубрику, если бы в произведении такого рода не требовалось соблюдать величайшую точность и щепетильность, во избежание смешения типов: так, вот, люди, о которых я говорю, — это те, кто переплывает море и живет в чужих землях в видах сбережения денег для различных целей и под разными предлогами; но так как они могли бы также уберечь своих близких от излишних хлопот, сберегая свои деньги дома, и так как причина к путешествиям наименее сложна, я обозначу этих джентльменов именем — Просто путешественников.

Итак, весь круг путешественников можно свети к следующим рубрикам:

Путешественники праздные,
Путешественники любопытные,
Путешественники лгуны,
Путешественники гордые,
Путешественники тщеславные,
Путешественники, страдающие сплином.

Далее следуют:

Путешественники по необходимости,
Путешественники преступники и злоумышленники,
Несчастные и невинные путешественники,
Просто путешественники.

И последний из всех (с вашего позволения) — Путешественник сентиментальный (под коим разумею себя самого), путешествующий — о чем я сейчас собираюсь дать отчет — в той же мере из необходимости и *besoin de voyager*⁴, как и всякий другой из этой разновидности.

В то же время, так как и странствия мои и наблюдения будут совсем иного склада, чем у кого бы то ни было из моих предшественников, я вижу, что должен был бы отстоять для себя одного целую рубрику; но я вторгся бы в границы Путешественника тщеславного, если бы пожелал привлечь к себе внимание, не имея к тому лучших оснований, кроме необычности моего экипажа. Для читателя достаточно (если он и сам когда-нибудь был путешественником), что, изучив мою классификацию и поразмыслив над нею, он сможет определить в ней свое собственное место и разряд; для него будет шагом к познанию самого себя, ибо он, вполне возможно, и по сей час в окраске и облиции сохраняет кое-что от того, что впитал и вынес из странствий.

Человек, впервые пересадивший бургунскую лозу на мыс Доброй Надежды (он был, заметьте, голландец), отнюдь не воображал, что будет пить на Капской земле⁵ то же вино.

какое эта самая лоза давала в горах Франции, — для подобных мечтаний наш голландец был слишком флегматичен; но он несомненно, ждал, что будет пить некую жидкость из разряда вин; а будет ли она хорошей, скверной или средней — он видел виды и понял, что это зависит не от его личного выбора и успех его решится тем, что обычно именуется удачей; однако же, надеялся он на самый лучший исход; и в этих надеждах, чрезмерно полагаясь на крепость своей головы и глубину своего благоразумия, минхер⁶ рисковал потерять и то и другое в своем новом винограднике и, открыв свою наготу, стать посмешищем для домочадцев.

Точно так же получается и с бедным Путешественником, переплывающим моря и разъезжающим на почтовых по самым просвещенным королевствам земного шара в погоне за знаниями и совершенствами.

Знания и совершенства, действительно, можно получить, переплывая моря и разъезжая с этой целью на почтовых; но полезные ли знания, действительные ли совершенства — дело жребия; и даже там, где искатель встретит удачу, он должен использовать свои приобретения осмотрительно и трезво, и только тогда они пойдут ему впрок; но так как и в деле приобретения и в деле применения удача упорно идет своими дорогами, я склоняюсь к мнению, что человек поступит мудро, положив обходиться в жизни без чужеземных знаний и чужеземных совершенств, в особенности если он живет в стране, где нет абсолютного недостатка ни в том, ни в другом; и, право, я не раз с сердечным сокрушением замечал, как много напрасных шагов отмечал Любопытный путешественник, чтобы видеть зрелище и ознакомиться с открытиями, которые все отлично можно было бы, как сказал Санчо Панса Дон Кихоту, увидеть дома, не истоптав сапог. Наш век столь полон света, что вряд ли найдется в Европе такая страна или такой уголок, который не скрещивал и не обменивал бы своих лучей с другими. Знание в большинстве своих ветвей и отраслей доступно каждому, как музыка на итальянской улице, где можно пользоваться ею бесплатно. Но нет такой страны под небесами, и бог мне судья (пред чьим трибуналом я должен буду некогда предстать и держать ответ за эту книгу), что я говорю это без бахвальства, нет под небесами такой страны, покровительствующей науке, где бы знания легче культивировались и приобретались бы легче, чем здесь, где поощряется искусство и скоро достигнет расцвета, где на природу (если взять ее в целом) так мало приходится обижаться и где в довершение всего так много остроумия и разнообразия характеров, дающих пищу для мысли, — так куда же вы рветесь, дорогие соотечественники?

— Мы только осматриваем эту коляску, — отозвались они. —

укажите мне, в какую сторону мне свернуть, чтобы пройти в *Oréga comique*⁸. — С удовольствием, — ответила она и отложила свое рукоделие.

По пути я заглянул с порога в шесть-семь лавок, ища лицо, которое не искривилось бы при вторжении; наконец, ободренный выражением лица этой женщины, я вошел.

Она взяла кружевной нарукавник, сидя в низком кресле в конце лавки, прямо против двери.

— *Très volontiers*⁹, с удовольствием, — сказала она, кладя работу рядом на стул, и поднялась со своего низкого кресла таким веселым движением и с таким веселым лицом, что, запроси она с меня пятьдесят луидоров, я сказал бы: «Эта женщина — сама любезность».

— Вы свернете, *monsieur*, — сказала она, подходя со мною к дверям лавки и указывая на улицу, по которой мне следовало идти, — вы свернете справа налево, *mais prenez garde*¹⁰, — тут два угла; так будьте добры, сверните у второго, — потом пройдете немного по переулку и увидите церковь; миновав ее, потрудитесь тут же свернуть направо, и вы окажетесь прямо у *Pont Neuf*¹¹, перейдете мост, а там вам каждый с удовольствием укажет дорогу.

Она трижды повторила мне свои указания, в третий раз все с тем же добродушным терпением, как и в первый; и если тон и манера не лишены значения, а они лишены его только для сердец, которые к ним нарочито глухи, она, казалось, искренно тревожилась, как бы мне не заблудиться.

Не думаю, чтобы к чувству, вызванному у меня ее вниманием, примешивалось впечатление от ее женской красоты, хоть она и была, пожалуй, прелестнейшей *grisette*, какую мне довелось видеть; помню только, что, изъясняя свою признательность, я глубоко заглядывал ей в глаза, и что я повторил слова благодарности столько же раз, сколько она повторяла свои указания.

Не отошел я и десять шагов от порога, как убедился, что забыл все ее наставления до последней запятой. Итак, оглянувшись и увидев, что она все еще стоит в дверях, как бы желая проследить, правильно ли пойду или нет, я возвратился и спросил, куда мне сперва повернуть, налево или направо, ибо я абсолютно позабыл. — Возможно ли? — сказала она, сдерживая смехок. — Вполне возможно, возразил я, — если мужчина думает больше о женщине, чем о ее добром совете.

Так как это была истинная правда, она приняла ее, как принимает правду всякая женщина: выслушала и сделала легкий реверанс.

— *Attendez*¹², — сказала она и, положив руку мне на плечо, чтобы я не ушел, она кликнула из задней комнаты мальчика и велела ему приготовить партию перчаток. — Я как раз со-

бираюсь, — сказала она, — послать его с пакетом в тот квартал; если вы не откажете в любезности зайти и подождать минутку, он вас проводит до места. Итак, я прошел с нею в конец лавки; взяв в руки положенный ею на стул нарукавник, как бы затем, чтобы освободить место, я подождал, пока она опустилась в свое низкое кресло, и тотчас сел рядом с нею.

— Сейчас, *monsieur*, — сказала она, — он управится в одну минуту ... — И за эту минуту, — ответил я, — мне от души хотелось бы сказать вам что-нибудь очень милое за все ваше внимание. Каждый может оказать случайную любезность, но когда человек ведет ее дальше, это уже говорит о теплоте сердца; и бесспорно, — добавил я, — если все та же кровь течет по жилам от сердца к рукам (тут я взял ее за кисть), я уверен, что ни у одной женщины на свете нет такого хорошего пульса, как у вас... — Проверьте, — сказала она, протягивая руку. Итак, положив шляпу, я одною рукою взял ее за пальцы и двумя пальцами другой руки стал нащупывать артерию.

Если б тебе угодно было, мой милый Евгений, чтобы ты в эту минуту прошел мимо и увидел, как я сижу в своем черном кафтане и деловито считаю пульс, удар за ударом, с таким искренним увлечением, как если бы следил за критическим приливом или отливом в лихорадке! О, как был бы ты прав, морализируя и труня... «Поверь же мне, дорогой Евгений, — ответил бы я тебе, — на свете бывают занятия похуже, чем щупать пульс у женщины». — Но у какой женщины? У *grisette*, — возразил бы ты, — да еще перед открытой дверью лавки, Йорик!

Тем лучше; ибо, если мои намерения честны, Евгений, пусть хоть весь мир глядит, как я щупаю пульс — меня это не смутит.

Супруг

Париж

Я насчитывал двадцать ударов пульса и быстро подбирался к сороковому, когда ее супруг, зайдя неожиданно в лавку из задней комнаты, несколько сбил меня со счета. — Ничего, — объяснила она, — это только ее муж. — Я начал новый счет. — *Monsieur* так любезен, — молвила она, когда тот проходил мимо нас, — что взял на себя труд пощупать мне пульс. — Муж снял шляпу и, отвесив мне поклон, проговорил, что я оказал ему слишком много чести; с этим словом он надел шляпу и вышел.

Боже милостивый! — сказал я про себя, когда он скрылся за порогом, — неужели такой человек может быть мужем такой женщины!

Те немногие, кому понятны причины этого возгласа, надеюсь не обидятся, если я разъясню их непонимающим.

В Лондоне лавочник и лавочникова жена представляют собою единую кость и плоть. В смысле тех или иных телесных и духовных свойств каждый приносит свой вклад, но в общем, на одинаковых началах; они между собой равня и подходят друг к другу в той мере, в какой это необходимо для мужа и жены.

А в Париже вряд ли найдутся две породы людей более различные, ибо здесь законодательная и исполнительная власть лежат не на муже, он редко заходит в лавку: в темной и унылой задней комнате он сидит, нелюдимый, в ночном колпаке с кисточкой, все тот же грубый сын Природы, каким Природа оставила его.

Гений народа, салический¹³ только в монархии, уступил эту область, как ряд других безраздельно женщинам; и если в постоянном торге с посетителями всех рангов и калибров, с утра до ночи, они, подобно грубым осколкам камня, перетрачиваемым в одном мешке, в дружественном препирательстве теряют свою шероховатость и острые углы, не только становятся круглыми и гладкими, но иногда отшлифовываются точно бриллиант, — то в то же время *monsieur le Mari*¹⁴ остается немногим лучше булыжника под вашими ногами.

Право же, право, друг мужчина, нехорошо тебе сидеть одному; ты создан для общественных сношений и для милых любезностей; они совершенствуют нашу природу, которую я призываю тебе в свидетели.

— Ну, как он бьется, *monsieur*? — спросила она. — Со всей благодарностью, — сказал я, глядя спокойно в ее глаза, — какой я и ожидал. Она приготовилась промолвить в ответ что-нибудь вежливое, но рассыльный с перчатками вошел в магазин. — *A propos*¹⁵, — сказал я, — мне самому нужна пара перчаток. <...>

Паспорт

Гостиница в Париже

<...> А что касается Бастилии¹⁶ — весь ужас только в слове. — Как ни верти, — сказал я самому себе, — а Бастилия только синоним тюрьмы, в тюрьме — это синоним дома, из которого нельзя выходить. — Благодарю покорно! Значит, как при подагре: она тоже раза два в год берет человека под арест. Но имея девять ливров в день да перо, чернила и бумагу и терпение, человек, хотя бы ему и нельзя было выходить, отлично проживет и в четырех стенах по крайней мере месяц-полтора; а за это время, если он и впрямь безобидное создание, выяснится его невинность, и он выйдет из тюрьмы более добрым и мудрым человеком, чем вступил в нее.

По какому-то поводу (забыл, по какому) мне понадобилось

выйти во двор, когда я пришел к этой мысли; и помнится мне, спускаясь по лестнице, я был горд и доволен своим рассуждением.

— Долой *sombre* карандаш! — сказал я хвастливо, — не завидую я его искусству изображать все злое в жизни такой жестокой и мертвенной краской. Душа наша в ужасе отшатывается от предметов, которые сама преувеличила и зачернила: верните им их подлинный размер и цвет, и она будет смотреть на них с пренебрежением. Правда, — сказал я, внося поправку в рассуждение, — Бастилия из тех зол, которые можно презирать. Но отнимите у нее башни, засыпьте ров, уберите засовы с дверей, назовите ее просто домом заключения и вообразите, что вас удерживает в нем тирания болезни — не человека: — зло исчезает, и вы переносите вторую половину без жалобы.

Меня прервал на зените этого монолога голос, который я принял было за голос ребенка, и ребенок этот жаловался, что «не может вырваться». Я поглядел вверх и вниз по коридору, и, не увидев никого, ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, вышел, не обращая внимания на голос.

Возвращаясь назад по коридору, я услышал те же слова, повторенные дважды; и, взглянув вверх, увидел висевшего в маленькой клетке скворца.

Я остановился поглядеть на птицу, и кто бы ни прошел по коридору, она металась навстречу каждому, в ту сторону, откуда приближались шаги, и с тем же сетованием на свой плен повторяла: «Мне не вырваться». — Помоги тебе бог! — сказал я, — я выпущу тебя, чего бы мне это не стоило; — и вот я перевернул клетку, чтобы открыть ее дверцу: она была окружена и перекручена проволокой так крепко, что никак нельзя было ее отворить, не разломав клетки на куски. Я обеими руками принялся за дело.

Птица подлетела к той стороне, где я трудился над ее освобождением, и, просунув голову меж прутьев, грудью прижалась к ним, словно в нетерпенье. — Боюсь, бедное создание, — сказал я, — мне не под силу выпустить тебя на свободу. — Да, — промолвил скворец, — мне не вырваться, мне не вырваться.

Признаюсь, никогда так нежно не пробудилось во мне сочувствие; и не помню я в своей жизни случая, когда бы рассеянные мысли, для которых мой разум был точно мыльный пузырь, так внезапно вернулись бы на место. Как ни механически пел свою песенку скворец, но в мелодии она была так верна природе, что мгновенно опрокинула систему моих рассуждений о Бастилии; и я тяжело поднимался по лестнице, опровергая каждое слово, сказанное мною раньше, когда я спускался по ней.

Рядись в какие угодно уборы, все же Рабство, — сказал я, — все же ты останешься горькой микстурой! И хотя во все

века микстура эта прописывалась тысячам, ты от того не становишься менее горьким. — Ты же, трижды сладкая и милая богиня, — обратился я к Свободе, — тебе, всенародно ли, или тайно, но все тебе поклоняются, ты приятна на вкус и навсегда останешься приятной, пока сама Природа не изменится. Никакая краска слов не запятнает твоей белой снежной мантии, и сила химии не обратит твоего скипетра в железо; с тобой, если ты ему улыбаешься, когда он ест свою корку, пастух, счастливей своего короля, чей Двор обрек тебя на изгнание. — Благостное небо! — вскричал я, преклонив колена на предпоследней ступеньке лестницы, — даруй мне лишь здоровье, ты великий его расточитель, и дай мне в спутницы прекрасную эту богиню, а мирты свои ниспошли дождем, если в этом не видит зло твое божественное провидение, на головы тех, кто по ним томится.

Узник

Париж

Птица в клетке преследовала меня до дверей моей комнаты. Я сел вплотную к столу и, склонив голову на ладонь, стал рисовать самому себе горести заточения. Я был для этого правильно настроен и вот дал волю своему воображению.

Я собирался начать с миллионов моих собратьев, от рождения получивших в удел одно лишь рабство, но, убедившись, как ни была картина эта трогательна, что я не могу приблизить ее к себе и что множество печальных групп на ней позволяет мне сосредоточиться, я взял одинокого узника и, заперев его сперва в подземную тюрьму, я стал затем глядеть в полумрак решетчатой двери, чтобы запомнить его образ.

Я видел его тело, изможденное долгим ожиданием и заключением, и почувствовал, какая сердечная тоска рождается из несбывающейся надежды. Приглядевшись ближе, я увидел, что он лихорадочно бледен; за тридцать лет ни разу западный ветер не охладил его крови; ни солнца, ни месяца не видел он за все это время; и голос друга или родственника не проник к нему сквозь решетку! Его дети!

Но здесь мое сердце облилось кровью; я был вынужден приступить к другой части портрета.

В дальнем углу своей камеры он сидит на земле, на охапке соломы, что служит ему попеременно стулом и кроватью; календарь из малых палочек разложен у изголовья, сплошь иссеченный в память унылых дней и ночей, прошедших в заточении; одну из этих палочек узник держит в руке и ржавым гвоздем наносит зарубку о еще одном дне страдания в добавление к куче прежних. Так как я заслонил тот скудный свет, что ему предоставлен, он безнадежно поднял глаза на

дверь, затем потупил их вновь, покачал своей головой и вернулся к скорбной своей работе. Я услышал лязг цепей на его ногах, когда потянулся всем телом, чтобы вложить палочку в связку. Он глубоко вздохнул. Я видел, как железо вонзается ему в душу! И я разразился слезами. Не вынес картину заточения, нарисованную моей фантазией. Я вскочил со стула и позвал Ла-Флера, попросил его заказать мне une ewmise, чтобы мне ее подали к дверям гостиницы в девять часов утра.

— Я поеду, — сказал я, — прямо к господину герцогу де Шуазелю¹⁷.

Ла-Флер хотел уложить меня в постель, но, не желая, чтобы он прочел на моем лице что-либо такое, что причинило бы честному парню сердечную боль, я заверил его, что разденусь сам, и посоветовал ему тоже скорее лечь спать.

Второй роман Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768) произвел еще большее впечатление на современников, чем первый. В нем нашло отражение новое направление в поэзии и в прозе, представленное такими блестящими именами, как О. Голдсмит, Грэй, Томсон, получившее название сентиментализма. Роман Стерна носил на себе печать новаторства — он расширял возможности художественного исследования духовной жизни человека. Описывая путешествие пастора Иорика по европейским странам (по Франции и Италии), Стерн изображает некоторые характерные моменты жизни феодальной Франции и Италии. Он как бы воссоздает отдельными мазками кисти атмосферу крепостничества. Стерн зло и беспощадно разоблачает ханжество, лицемерие, пустоту французского высшего света. Пастор Иорик, начавший посещать парижские салоны, с отвращением отворачивается через некоторое время от аристократов:

«Три недели сряду я разделял мнение каждого, с кем встречался в салонах, и такой ценой я мог есть, пить и веселиться в Париже до окончания дней моих; но то был позорный счет — я стал его стыдиться. То был заработок раба — мое чувство чести возмутилось против него — чем выше я поднимался, тем больше попадал в положение нищего — чем избраннее coterie (компания — франц.), — тем больше детей искусственности — я затосковал по детям Природы» (гл. I).

Иорик видит скворца, посаженного в клетку. Скворец говорит: «Не могу выйти!». Это — символ рабства. Иорик произносит гневную тираду в защиту «благостной богини Свободы», против позорного крепостничества — «горькой микстуры, испитой тысячами людей всех времен». Однако и Иорик, подобно персонажам «Тристрама Шенди», не отваживается на активный протест. Это герой, ограничивающийся сочувствием угнетенным, — прообраз «страдающего эгоиста» Чайльд-Гарольда, героя Байрона, который был одним из приемников Стерна в английской литературе начала XIX в. Характер Иорика сложен и противоречив, демократизм и свободолюбие сочетаются в нем с безнадежным эгоизмом. Более всего его тревожит, что будет нарушен его личный покой. Тщеславие и честолюбие также играют немалую роль в его жизни. Поэтому, с одной стороны, Иорик восторгается смелостью и находчивостью французского простолюдина — своего слуги Ла-Флера — сочувствует обездоленной молодой крестьянке Марии, соболезнует горю крестьянина, у которого пал осел — его единственный кормилец. Но с другой стороны, он чувствителен к лести, угодничает перед высокопоставленным лицом — герцогом де Ш., когда опасается, что его посадят за просроченный паспорт в Бастилию, не хочет подать несколько грошей нищему монаху и т. д. Большим достижением Стерна-художника является то, что

он приходит к важному выводу о решающем влиянии обстоятельств на характер и поступки героя. В эстетике XVIII в. (Шефтсбери, Лессинг) типическая среда еще никак не связана с характером героя, непосредственно его не формирует. Стерн пришел в своей художественной практике к мысли о более тесной и неразрывной связи среды и характера, к мысли о ежедневном и ежечасном влиянии жизненных обстоятельств на мысли и поступки человека.

Выше приводятся отрывки из произведения.

1 Стремясь опрокинуть ненавистные ему каноны и правила классицизма, Стерн нередко доходит до крайности: так, например, предисловие он помещает не в начале книги, а ближе к середине ее, после ряда глав.

2 *Ad infinitum* — до бесконечности (лат.).

3 *Оксфорд, Эбердин* — университетские города Англии; *Глазго* — большой портовый город Шотландии, славившийся своим университетом.

Здесь — непередаваемая игра слов: слово *governor* (англ.) — «тюремщик» имеет еще и другое значение: воспитатель, опекун, дядька.

4 *Besoin de voyager* — потребность путешествовать (франц.).

5 *Капская земля* — южная оконечность африканского материка, завершающаяся мысом Доброй Надежды.

6 *Минхер* — господин (голландск.).

7 *Ла-Флер* — слуга главного героя «Сентиментального путешествия».

8 *Opéra comique* — театр комической оперы в Париже (франц.).

9 *Très volontiers* — весьма охотно (франц.).

10 *Mais prenez garde* — будьте осторожны (франц.).

11 *Pont Neuf* — так называемый «Новый мост» (один из мостов через Сену).

12 *Attendez* — подождите (франц.).

13 Салическая система признает право престолонаследия лишь за мужчинами.

14 *Le Mari* — господин муж (франц.).

15 *A propos* — между прочим, кстати (франц.).

16 *Бастилия* — военная крепость в Париже, превращенная французскими королями в тюрьму. Уничтожена восставшим народом 14 июля 1789 г. На том месте, где стояла Бастилия, было посажено Дерево Свободы.

17 *Герцог де Шуазель* — министр в правительстве Людовика XIV.